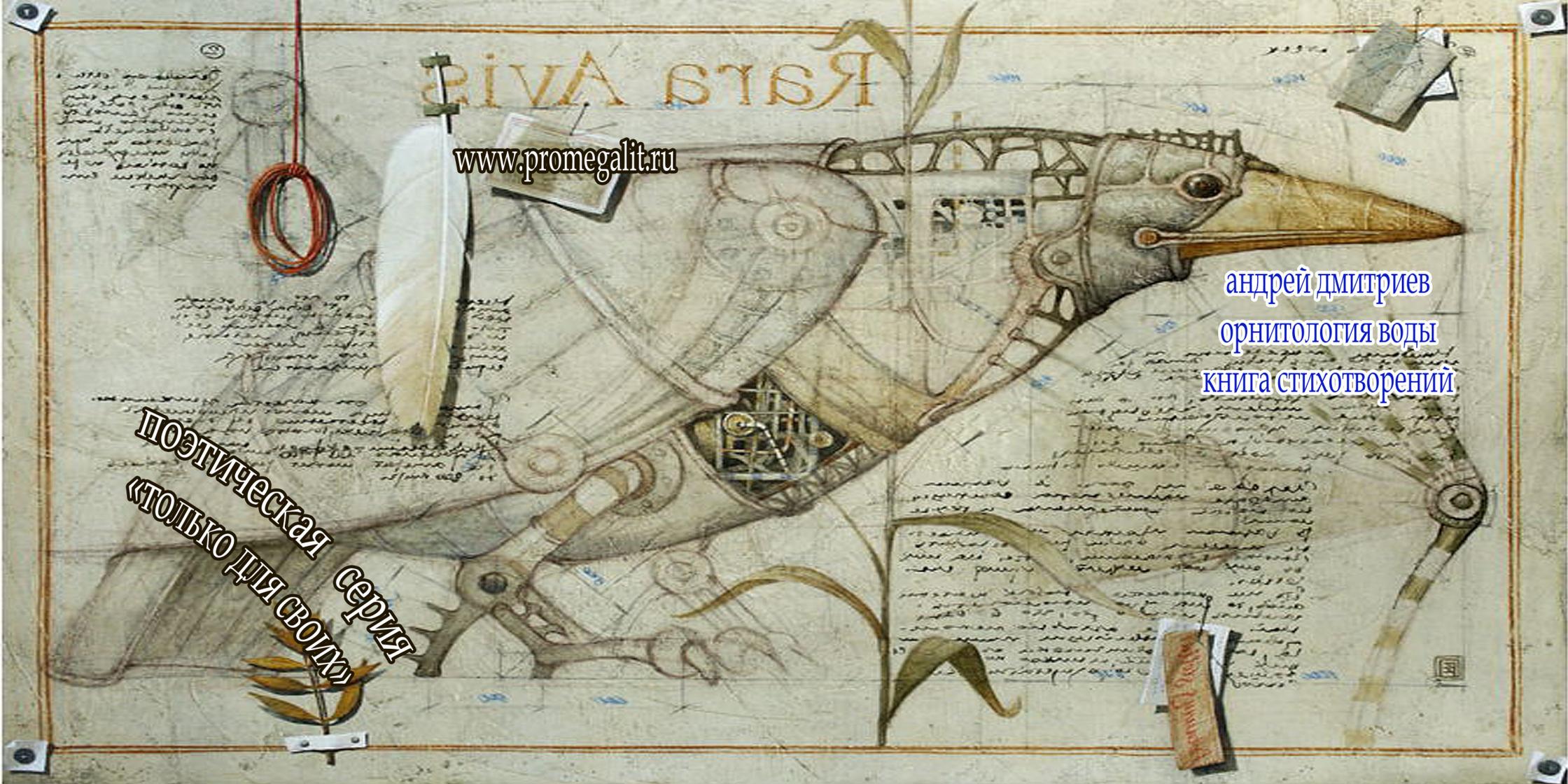


ЯВА АВИС

www.promegalit.ru

андрей дмитриев
орнитология воды
книга стихотворений

Поэтическая серия
«Только для своих»



андрей дмитриев

орнитология воды

Евразийский журнальный портал «МегаЛит»
2016

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

Андрей Дмитриев. Орнитология водыт: книга стихотворений - сер. «Только для своих» - Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ» - Кыштым, 2016 г. - 52 с.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

ISBN 5-87039-087-14

© Андрей Дмитриев, стихотворения, 2015

© Александр Петрушкин, дизайн, верстка, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Стрекоза — глаза травы /5/
Войди в меня, как пуля. Рукоять /6/
Выклёвывала зёрнышки из глаз плодородного бога /7/
У бабочки — пульс всё слабее. В травах /8/
Вернись в Сорренто или просто в Арзамас /9/
Человек с головой из живого стекла /10/
В графине вода – как живое стекло /11/
Говорят, что в провинции Сычуань /12/
В свежерытой комнате с чёрным окном /13/
В Хичкоке коллективном – копать птиц /14/
В октябрьском парке – деревья тают, как свечи /15/
Люди ходят друг к другу за хлебом и солью /16/
Иногда мы – немного олени /17/
Хвост рыбий – двигает пласты /18/
Золотой жук жужжит в правом ухе, а в левом – растёт трава /19/
Льняное сердце, травяные сны /21/
Соломенная музыка дождя /22/
«Я ещё молодой, я ещё молодой, я ещё молодой» /23/
Горчит сырое молоко /24/
В ястребиных глазах – мышка – робкий комок природы /25/
Выходишь из себя — как из воды /26/
Сороконожка бежит через острый порог травы /27/
Под сурдинку сурдоперевода /28/

Глаз выдры верен пресному потоку /29/
Капитанам подводных лодок /30/
Итальянцы — как птицы /31/
То, чем я занимаюсь – возможно, вовсе и не поэзия /32/
Китайскому халату шелкопряд /33/
Пойдут клочки по закоулочкам /34/
Из той подушки, что выпустила коготь /35/
Лесная дорога – как попытка погладить ежа /36/
Тонкие и длинные пальцы — переходят в клавиши /37/
Крыльчатка мельницы вспорхнёт на жердь сухого горизонта /38/
К тебе придут четыре хлебопашца /39/
Мальчик-голавль в обтекаемом мире иллюзий /40/
К родным руинам, к деве на метле /41/
Карниз утопан голубиной почтой /42/
Тень Питера. В губной помаде света /43/
Мыльный пузырь распахнулся и выпустил возглас /44/
У дельфина – ныряющего в тёплой воде /45/
Камышовая мышь знает толк в тростниковых свирелях /46/
Он говорит: ГУЛАГ был прекрасен /47/
Неугомонной тусклой птичкой /48/
Хлебникову – испеките хлеба /49/
Маленькой серой птичкой /50/

* * *

Стрекоза — глаза травы,
птица — хвост живого ветра,
рыба — тишина воды...

- А вы?

- Я? Лишь — корешок билета
в пальцах строгих и больших.
Номер, серия, а дальше —
строчка мелких знаков — шифр,
как сказал бы шифровальщик.

* * *

Войди в меня, как пуля. Рукоять —
не холодной ствола. Рука — дрожит и стонет.
Под кожей — крови заповедная река
рыбачьих не запомнила историй,
но лепит море из горячих красных глин,
как нечто запредельное — предсердье
её толкает, и суда могли б
легко дойти до устья. Выстрел — вспышка света,
а дальше — боль, растущая внутри,
как заросли крапивы, как репейник —
то, что кричали новостройкам пустыри,
а вот к исходу лета оробели...

Но пулей или семечком летит
заряженный тобою новый отблеск —
а я — не зеркало, не отражу — останется в груди,
как в отбелевшем поле колос
взойдёт на тонком стебле, и тогда
взметнёт костры счастливый землелашец,
и выплывет за вторником среда
усталым месяцем, серпом, железом, повидавшим
такую жатву, что к спине прилипла ткань
рубашки, потемнев вокруг лопаток.
Войди в меня живым огнём глотка,
что жжёт вначале, а потом — так сладок...

* * *

Выклёвывала зёрнышки из глаз плодородного бога
шустрая синица – сетовала на голодные зимы,
а по лугу шла пегая корова и сломанным рогом
толкала шелест осинового
сквозь багрянец войны, за которым в болдинском уголке
дышит на свечи величавая память, кружа в грибоедовском вальсе,
и всё лучшее, что теплится на языке,
выдаёт бесконечным авансом.

Любо-дорого посмотреть, раздёрнув занавески в горошек,
на эту живопись, где красота топором священным
делит свет на плохой и хороший –
засыпает пространство щепками.
Застывают слова – прибегаю к знакам и жестам,
но прихожу к выводу, что ничего не умею,
и на перекрёстке властный взмах жезла
перерубает трахею.
И вот плодородный бог
держит в ладони синицу,
что сетует то ли на зимы, то ли на сломанный рог,
то ли на четырёхпалую лапку, которой трудно креститься...

* * *

У бабочки — пульс всё слабее. В травах —
товарняки гремят на стыках листьев
и тех стеблей, что летом настилали переправу
меж этих зыбких, но душистых истин —
вдали конечная уже маячит.
Разгул природы пресекут. Под тонкой коркой
запрыгает по наковальне мячик,
из детских ручек выпрыгнув проворно...

Мы — повзрослели с этой непогодой,
вдохнули дым Отечества и стали
его туманным и прогорклым кодом
в тугих тисках из зябки, грубой стали.
Идёшь по улице — шлифуешь грань событий,
но рвёшь до крови острым заусенцем
живую кожу. Это — жизнь, простите,
хотя бывает слишком близко к сердцу.

* * *

Вернись в Сорренто или просто в Арзамас –
дождём, искристым снегом, почтой
на имя голубей, что в сотый раз
меняют адреса прописки. Сдулись почки
на ветках, впредь – весна наоборот.
Вернись, вернись, пройдясь стрелой по числовому ряду,
к наречью местному свой приучая рот,
купив сухого – нет, полусухого – яда
в тугом стекле и хлеба. По глотку
вернись в Сорренто или в Арзамас – живой и пьяный,
где сторож в облетевшем спит аду
и видит сон, как руки ловят фортепьяно
за чёрный ворот и за белые манжеты,
но джаз – и ныне там.
Вернись куда-нибудь, зачислить в списки жертвой
себя не дав...

* * *

Человек с головой из живого стекла
проецирует мысли на голую стену.
Он — проточен, как луч, и, как будто игла,
узок — в смысле шитья для бесхитростной сцены
скромных тог и туник. Не разбиться бы вдрызг,
осыпая дорогу осколками. Голубь
стал пернатым стеклом, на стеклянный карниз
усадив своё тело с допущенным сколом.
С дрожью форточки ветер штурмует окно.
Человек отражает угасшие блики,
и в его голове заводное кино
по стеклу мажет мякоть последней клубники...

* * *

Маргарите Аль

В графине вода – как живое стекло.
Вот так и с домами – остывшая лава
в них дышит и любит – для наших стихов
земная возможность тигриною лапой
разрыть талый снег и приветствовать мох.
Высокий скворечник обнимет берёзу
и выполнит всё, что, по сути, здесь мог
весне предложить после долгих морозов.

Гранитные глыбы в оскале реки
в продрогших столицах зерно ожиданий,
скрипя, разгрызут – на, природа, пеки
блины новолуний. Большими шагами
идёт что-то важное. Ухо – бутон
раскрывшейся музыки с вьющимся стеблем.
Услышать, поймать, остальное – потом,
когда эту корку синицы растреплют...

* * *

Говорят, что в провинции Сычуань –
сычи изучили китайский,
и ныне Конфуций, а с ним и старик Лао Цзы –
тёмным лесом у птиц не слывут, и свеча
в пальцах даоса, что покуда с опаской
слышит шелест совиный, слезы
жар словам оставляет дремучим –
хвойным иглам, хранящимся в ворохе перьев
птичьей памяти – сонной и гулкой.
Будет время – сычиный изучим
и тогда на просторах поднебесной империи
станем вновь встрепенувшимся звуком...

* * *

В свежеврытой комнате с чёрным окном
ощущаешь себя землеройкой, кротом,
что, ища корешки в перепрелой земле,
остаются, как божие искры, в золе...
В этих маленьких глазках вся правда миров
убывает из центра по ветке метро
к ослепительным станциям, где голова
отвечает рукам за пустые слова.
Не хочу умирать, не хочу исчезать –
страшен лик темноты, голосующей «за».
Из распахнутых стен льются струи воды.
Рыбы знают ей красную цену. А ты?

* * *

В Хичкоке коллективном – копать птиц,
ступайте в душ и поверните ржавый вентиль,
чтоб талая вода смывала с лиц
чешуйки страха в чёрно-белой киноленте.
На мятой простыне экрана, на
экране мятой простыни в остывшей спальне
уже расплылись титры, на сетчатке сна –
наш грязный танец снова станет бальным.

* * *

В октябрьском парке – деревья тают, как свечи.
Их трепетный воск превращается в жухлую лужу погибшего цвета.
Внезапно – морозно. Полуденный свет искалечен
сырой этой серостью. Лицо, распалённое северным ветром,
хранит очертания города в канун оккупации.
Бездомные псы, бездымные птицы, бездумные люди...
В октябрьском парке – деревья истлевшими пальцами
касаются памяти. Мы все в ней когда-нибудь будем...

* * *

Люди ходят друг к другу за хлебом и солью,
чтоб однажды в какой-нибудь зимний и сырый четверг
стать обыденным хлебом, слезливую солью – настолько,
что никто не придёт – ни в четверг, ни, похоже, вовек.
Запекается корка, и пахнет прокисшею жизнью.
У собаки в зубах – клочок небес, запыхавшийся свет
сиганул через куст – и пропал. Пёс – забавный такой, пушистый,
только лапу дающий не всем...
Не пора ли включить нашу лампу, смести со стола молча крошки?
Хлеб вскормил всех своих едоков – словно сдобная мать –
остающихся, как ни хотелось бы им, в обескровленном прошлом
и назло научившимся резать, а чаще – ломать...

* * *

Иногда мы – немного олени.
Наши хитросплетённые диадемы –
похожи на ветви, которых лишили плодов из-за лени
вынашивать золото осени, работать антеннами
для связи с рычащей неизбежностью.
Вспышка – и вот голова над погасшим камином
глядит в пустоту строгой комнаты, где привыкли тешиться,
заслоняя страхи чем-то звериным,
но теперь безопасным для своей избирательной жизни...
А в стеклянных глазах – пусть даже искусственных –
замер лес вечной сказкой – хвойной, пернатой, пушистой –
лишившейся строк, не сумевшей стать устной.

И сейчас, щипля свой ягель
под расчерченным голыми кронами небом,
мы не слышим того, кто глотнул из фляги
и вставляет патрон в чёрный ствол – словно отросток вербы
в дешёвую вазу. Кровь – это красный символ,
которому требуются красивые ритуалы.
Олени вернутся, повинувшись своей инстинктивной силе,
по багряным проталинам и опять будут ягелю рады...

* * *

Хвост рыбий – двигает пласты
сырой воды в надежде выбрать
получше траекторию, движением простым
в пространстве продолжает тело рыбы
сквозь тусклый всплеск, сквозь тёмную траву
в бурлящем мире с пузырьками неба,
вернувшего себя на новый круг. Так наяву
глубины, отвергающие мебель,
выравнивают острые углы
для бытности неутомимой жизни,
а где-то там – за пеною игры –
смерть занята прилежно реваншизмом...

* * *

Золотой жук жужжит в правом ухе, а в левом – растёт трава.
В голове у тебя, как и прежде, колосится лоскут пейзажа,
где сидели мы тесным кругом вблизи костра,
собирая на стенке сердца его благовонную сажу
и считая на небе звёзды (арифметика в действии – так романтична).
Сосед – вынес мусор в пластмассовом жёлтом ведре,
оставил цепочку следов на снегу – от подъезда, откуда птичка
не вылетит, до контейнеров, где плоды, что манили среди ветвей,
стали прожитыми цветом и вкусом. Во дворе – всё такое железное,
оставляющее только порезы на голой щеке реальности.
Берёшь с полки книгу, садишься в старое кресло и
бредишь морем с обязательным белым парусом...

И жук золотой садится на куст акации в прибрежном оазисе,
и ухо, утомлённое скрежетом, похоже на чуткий цветок
с раскрытым бутонем. То ли мифы Европы, то ли туманы Азии
вокруг. Без меча рассеянный Ланселот
напоминает молодого учителя литературы и русского языка,
забывшего план урока и говорящего о жизни и смерти
так – будто вышел из них сквозь обычные зеркала
впереди тёртой фразы «здравствуйте, дети».

Снаружи – воеет метель, холодно. Внутри – кассир магазина
пробил по ошибке вместо ножек куриных дешёвую пару крыльев
прозрачной старушке, которой не пережить эту зиму,
потому что граница – единственная, которую не закрыли –
подошла вплотную. Ты стоишь у кассы с пакетом яблок –
будто покинув Эдем. Жук золотой разрезает просроченный воздух,
где Есенин венчает розу белую с чёрной жабой
и сам понимает, что это всё – несерьёзно.

Путь из песочницы в греки – скитание по античным руинам,
из пионеров в варяги – поиск нового князя и новой дружины,
только вечного лета никогда не отринуть,
потому что лишь в нём золотые жуки - будто дети блокадного космоса - всё ещё живы.

* * *

Льяное сердце, травяные сны,
древесный вкус дикорастущей, буйной жизни –
вся эта жимолость и письма с бересты
читаются сквозь грубый рёв машин и
становятся словами на полях –
пометками на тот внезапный случай,
что из теснин картонного тепла
вдруг вынуждает вырваться летучий
и певчий смысл движения извне...
Когда оскален на пространство камень,
и долгое железо, на резец
похожее, снимает завитками
с холодных стен волокна дряблых мышц –
внутри клокочет древняя природа,
выходит в поле, где колосья ищетмышь,
где ветер в небесах разведал брод и
теперь в крови обоих берегов,
где даль и ширь – залог удачной песни...
Мы сокращаем эту музыку бегом,
но, вероятно, в ней когда-нибудь воскреснем.

* * *

Соломенная музыка дождя
идёт под серп замыленного слуха,
но не плита бетонная – скрижаль –
омыта небом. Целится из лука
кентавр в ушко иглы, чтоб пропустить
нить смысла для пошива лёгкой тоги,
но нить, стянув неровные куски
материи, не держит швы в итоге –
и всё сплывает вниз с покатых плеч,
как шум воды, как мокрый шорох ливня...
Что можно в этой музыке сберець
помимо ею созданного мифа?

* * *

«Я ещё молодой, я ещё молодой, я ещё молодой» –
это такая мантра. Повторяешь – будто жуёшь кислород,
будто процеживаешь речную воду сквозь израненную ладонь,
будто наводишь камни на свой огород...
Когда-то зима была злее, а лето – щедрее.
Все треугольники были равносторонними, квадраты – не чёрными,
а теперь даже соло соседской дрели
звучит обречённо...

Весь такой осеннее-меланхоличный – словно бутылка виски –
пропускаешь свет люстры, булькаешь, если смотрят
на этикетку, а слышится: «Не пейте меня слишком быстро –
хотя бы сегодня...».

* * *

Горчит сырое молоко
тех лошадей, что рыщут степью,
пытаясь превзойти волков
и обрести стальные скрепы
с огнём и пеплом... В ковыле
ржавеет звонкая подкова —
на счастье. Миновав карьер,
оно летит, и крик лихого
рубачи поднимает птиц
из пряных трав. Чернеет копоть
на белых крыльях их страниц,
которыми до солнца хлопать...

* * *

В ястребиных глазах – мышка – робкий комок природы
и не более, но голое поле на кочках расправленных плеч
не несёт ничего. В небе облако – вытянутое, словно пирога
из индейских историй – плывёт, провоцируя речь
на такие сравнения. Пустота – в ожидании,
приготовилась к хищному затыжному прыжку,
чтобы всё, что она сейчас окружает
превратилось в летящий шум...

Но прикроешь глаза, и во тьме сопредельных предчувствий
свет затеплится в самом глухом уголке –
это кажется только, где не рвётся – там пусто.
Нет – не пусто... Ночь – у антенны сидящая на игле –
ловит наши сигналы, которые тонут, но тянут
нить сквозь ухо, привыкшее, что моллюск
обживает его, как раковину. Строчки цифр на билетах в театр –
это коды к шифровке из центра. Уже не боюсь
пустоты – будет повод шире закрыть глаза,
вспомнить ястреба, голое поле, небесную ту пирогу,
что индейского лета форсирует долгий рукав – а за
поворотом, возможно, есть шансы почувствовать бога...

* * *

Выходишь из себя — как из воды -
ни времени, ни места, чтоб обсохнуть.
Седые иглы колкой бороды
ещё пришьют лоскут льняного вздоха
к ворсистой мешковине пустоты,
а нынче кровь пока верна нажиму
и почерку — для средней полосы
тетрадного листа, где быть бы живу...

Скрипучий стул, холодная стена,
кошачий ворс жилого постоянства.
Звенит в мишени меткая стрела,
но оперенье силится напрасно
продолжить оборвавшийся полёт.
Щербатым наконечником почувствуй,
как плавится насквозь пробитый лёд,
что слабость проявлял подкожным хрустом.

* * *

Сороконожка бежит через острый порог травы –
каждый каблук задевает за малахит.
Жизнь насекомая в этом и состоит –
быть медиатором струн или тетивы.
Пущены стрелы с новым аккордом ввысь –
долго в мишени остям пересохшим звенеть.
На перекрёстке скрипач собирает медь –
со стрекозою в один они год родились.
Льётся цикадами куст в русле южных огней –
тоже, мол, песня, завёрнутая в листву.
Но энтомологам скучен такой хвостун –
нынче одни пауки в их учёной игре...

* * *

Александру Пылькину

Под сурдинку сурдоперевода
пляшет тишина – в оглохшей ржи
только свежий голос кислорода
понимаем – что ни расскажи.

Вот вдали – знакомый пас руками
или это многопалый куст
на ветру решил общаться с нами,
но его перевести боюсь.

Что-то в этом нерве интонаций
есть от крика, потому молчать
хочется под плеск ветвей, чьи пальцы
не отсохли, чтобы лечь в очаг...

* * *

Глаз выдры верен пресному потоку –
блуждая, выбирает скользкий шифр
сырой природы – этим зябким оком
прослежен путь воды и то, чем жив
плеск изнутри. На берегу одышка
бегущих строк – порывистая мгла,
в которой псковский лёд и лоск парижский –
земного шва проворная игла.

Карниз рассвета – голубиный всполох,
на нём горит не выпавшийся снег.
Высь потолка над мёртвым полем пола
сквозь холод люстр процеживает свет,
а мы по руслу движемся к туманам,
где рыбы вздох – присутствие реки,
которой нам в мечтах о море мало,
пока вокруг расходятся круги...

* * *

Капитанам подводных лодок
снится скромный эдем на границах земного мира –
десять соток – как шлем Ланселота,
круглый клубень картошки, капусты зелёное вымя,
дробь смородины в рёбрах, шуршащих на вдохе кустов...
В чёрном чреве глубин одинокое мчится железо
сквозь расплесканный холод – чужой, бесприютный, пустой.
Ни листвы, ни садового лезвия.

Ну а где-то – пчела входит в мысли цветка,
и бежит по коре муравей – едва уловимой дрожью.
Эта область на картах секретных навряд ли цела,
хоть уже разрослась под кожей...

* * *

Итальянцы — как птицы:

кричат, собираются в стаи.

Англичане — как рыбы:

идут косяками сквозь сети ресторанов и баров.

Русские — как звери: воют на луну

и к зиме нагуливают жир.

Греки — как мифы: на каждом глиняном черепке

пишут о возрасте мира,

не забывая проставить внизу его цену..

* * *

То, чем я занимаюсь – возможно, вовсе и не поэзия,
но так хочется священнодействия посреди бубонной чумы...
Как Мухаммед Али против Фрейзера,
бьётся бабочка с пламенем – лампы не все включены,
но эта одна – не даёт покоя, маячит под потолком, сеет унылые блики.
Может быть, не хватает техники, чтобы это стало достойным внимания,
может, просто таланта... В подворотне стоят забулдыги –
спрятают то с Моисеем, то с Дарвином,
истину ищут на дне – по крайней мере, на донце.
Тоже ведь графомания – ни вкуса, ни чувства меры – одна бравада,
впрочем, что ещё остаётся
пленникам собственного бессилия – Вертер написан, расщеплен атом.

Кстати, с утра было солнце – скромная, но живая весть.
Теперь вот – болтается штепсель в обескровленной темноте,
похожий на маятник, что отмеряет мгновений вес,
потраченные на беспечные игры детей
и на пошлые игры взрослых. В голове –
бьётся бабочка о замерзающее стекло.
В Питере – что-то движется по Неве,
в Нижнем – объявляет конечную прокуренный голос стихов...

* * *

Китайскому халату шелкопряд –
доверил крылья. Лепестками сливы
Ли Бо с бумаги слизывает яд.
Но здесь – в дыму бескрайней перспективы –
остывшей нивы мёрзлая земля
готовит ритуальную могилу
для стойкого озимого зерна,
у смерти получающего силы.

Небесный кокон оставляет нить
в изящных пальцах скрипача-гуляки:
на бантик завязать или пустить
по ветру вопреки товарным знакам?
Поправив свой цилиндр на голове,
в котором век трепещет канарейка –
поэзия ложится на лафет,
что едет в реку, помнящую грека...

* * *

Пойдут клочки по закоулочкам,
а пока – наливай вермут в высокий бокал
и диктуй самому себе текст о царевице, убитом в Угличе,
об обещании намять бока
по телефону от неизвестного абонента,
чей номер заканчивается на ту же цифру,
что год смерти Пушкина, но это
не кажется совпадением, ведь всё не случайно. Сизифом
открывается сервант, извлекается фотография прадеда –
вот ведь было время, какие пейзажи, какая стать домов за спиной,
жаль только, что какой-то товарищ старательно
отрядил ему высшей меры справедливости – остался б живой,
может быть, тоже восхищался игрою теней,
брошенных на эти обветшалые стены,
на которые летом садилась бабочка – ей –
яркой и лёгкой – было радостно, что она – часть некой системы...

Допивай вермут, дописывай сценарий сна.
Ночь в термине «бесконечность» гласная «о» – так протяжна,
что веришь уже не глазам, а слуху и, видимо, небесам,
молитвенным шёпотом звучащим в замочной скважине...
Кошка знает в том толк –
она уже по ту сторону,
где отключен ток,
но свет – играет соло нам.

* * *

Из той подушечки, что выпустила коготь,
летит перо — восьмёрки пишет под фокстрот
хмельного ветра — дирижёру-осьминогу
не хватит рук грести в потоке этих нот.
Так по-кошачьи спину выгнула реальность —
в её шерсти мерцают искры фонарей,
но всё равно хозяйка гонит с покрывала,
в котором сна уже трепещется форель...

* * *

Лесная дорога – как попытка погладить ежа.
Сквозь колкую хвою продирается зябкий воздух
и идёт к тебе горлом – остаётся только дышать,
дух древесный пуская в ноздри...
Мы здесь заблудились – даже если дорогу назад
помним с детства, мы давным-давно заблудились –
потому до сих пор и веруем в чудеса
и в какую-то высшую милость.

Вверх посмотришь: сорока с ветки на ветку
несёт длинный хвост, подчёркивая, что в этом сюжете
ты – обычная ель – расчёсываешь гриву ветру,
но рискуешь в новом году стать ритуальной жертвой.
Остаётся только дышать, только дышать,
прорастая в холодной тверди зелёным узором хрупкого витража...

* * *

Тонкие и длинные пальцы — переходят в клавиши,
пальцы — белые и чёрные, клавиши — переходят в долгие звуки,
бесконечные звуки, и мы не знаем, что там дальше —
не пытаюсь измерить длину, мы — не без испуга,
но с цветочным трепетом — следуем за пальцами, клавишами, звуками.
Страшит бесконечность, трепетать заставляет иллюзия...
Мы ловим испуганный трепет большим слоновьим ухом и
называем улов этот музыкой...

* * *

Александрю Петрушкину

Крыльчатка мельницы вспорхнёт на жердь сухого горизонта,
но степь – не кочет, и кричит лишь цвет не выспавшихся глаз.
Фигуры снова развели по клеткам сложного кроссворда,
и тот, кто обживал плацкарт, сам заперт с ними был не раз.

Железный хвост спешит успеть за головой летящей кобры –
та, уловив дыхание нор, уже торопится домой.
Смешались день и ночь в одной над пламенем застывшей колбе –
выходит пар, в котором звук незримо падает на дно.

Остынут тени за спиной, и всё, что полотно терзало,
срывая гроздь последних искр, увидит гулкий лоб стены.
Замрёт движение, но тот, кто был в плацкарте, адресами
заполнит прибывший свой ум, став оперением стрелы...

* * *

К тебе придут четыре хлебопашца –
глаза усталые – по локоть в воронье,
по шею – в огненной воде, по крестик колокольни – в шансе
увидеть дальше... Кожаных ремней
сухие змеи стягивают торсы из ржаного хлеба,
ступней не вынуть из тугих сапог,
и свет качается – то вправо, а то влево –
как вечный маятник – не стоек, но высок...

В ладонях чёрных – зёрна. Ритуально
они дрожат на линиях судьбы
и ждут своих разверзнутых проталин,
однако с бесконечной высоты
и свет не видит кроме снега никакой ожившей почвы,
способной вдохновить и возродить.
Они придут – не с электронной почтой –
а с вдохом-выдохом, с натальным лязгом золотой орды,
с межрёберной неутолимой болью –
останутся стоять в твоём окне,
где новым камнем зарастает поле,
где лёд ползёт по Волге и Оке...

* * *

Мальчик-голавль в обтекаемом мире иллюзий
точит плавник о тяжёлую ржавую воду
старицы затхлой, где тесно в холодном союзе
свету и дну – хочет вырезать слово «свобода».
Звон чешуи – не кольчуга, а льдинки в бокале.
Скрип камышовый течёт по обыденным трубам
сна коммунального – венах уютной валгаллы,
где, разорив ойкумену, цепляются трупы
за безлимитный тариф. Скоро брызнет шампанским
время в лицо, и поставит бенгальскую свечку
мальчик за тех рыбаков, что, дуря от шанса
сделать уху, тянут в завтра свой род человеческий...

* * *

«К родным руинам, к деве на метле
в прокисшем небе – чёрном от досады,
что умер звездочёт, к зиме, чьё лучшее движение – метель,
к закатанному в бочки винограду...», –
подумал так бродяга, а потом
махнул рукой и потерялся в складках
природы, для которой мысли – дно
ума, где быт – так склонен к беспорядку.

* * *

Карниз утопан голубиной почтой.
Стекло дрожит – озноб окна.
Весть принята, но сильно неразборчив почерк.
Читаешь вслух – как будто не одна.
Изгибом кошки оживает угол,
где миска молока – сок заливных лугов
в коровьем пересказе. Вращает центрифугу
замыленное солнце. Как оно смогло
так долго гнать вокруг оси наш перепрелый воздух,
в котором бултыхаются сердца
и здания, что каждое – как остров
для пережившего крушение гребца?

Вернёшься к чашке чая.
В призрачном мерцанье раздует угли вечер.
Журнальный столик с тусклыми ключами –
вдали от тех дверей, которым больше нечем
заигрывать с сознанием – всё ясно:
мир впредь – прямоуглен, ну, по крайней мере,
до завтрашнего вздоха. Светофором красным
внизу сигналил перекрёсток, в сквере
напротив – вызревают тени
ночные. Однако, весть, что ты – жива, что кровь – не вышла на конечной –
даёт росток, и он из тысячи других растений
всех человечней...

* * *

Джорджу Гуницкому

Тень Питера. В губной помаде света
над сталью рек, что до сих пор остра,
ты шепчешь в ухо старому кларнету –
опровергаешь термин «пустота»,
как смысл земного шороха за дверью.
В руке – ключа надёжная блесна.
Но кто улову этому поверит,
когда любое чудо – признак сна?

Несут дворы скупые перспективы
в тот закуток, где у зрачка давно
припрятана живая десятина
того, что было ранее дано.
На серебро седого подбородка
не выкупить заложенных коней,
но ждать прилива – честная работа,
хотя порой отлива ждать честней.

* * *

Мыльный пузырь распахнулся и выпустил возглас
воздуха о тех соломинках, что выдувают в нас формы
неких миров для игры в сотворение — воздух
лёгок для радужных наших фантазий — он поездом скорым
долгие эти тоннели пронзает на скорости выдоха-вдоха,
станции быстро сменяют друг друга в глазах пассажира напротив,
bronхи чуть слышно по шпалам пускают свой внутренний рокот —
вышел же только пузырь — оболочка без плоти...
Детской забавы искрящийся смех — ловкий хвост горноста.
В нашем холодном лесу ну хоть что-то живое.
Мыльный пузырь — вещь, известно, довольно простая,
но служит тонким примером со школы,
как обретать атмосферу, дыша в узком смысле этого слова...
Дуй, ухватившись над бездной — соломинка выдержит снова.

* * *

У дельфина – ныряющего в тёплой воде –
детский смех на рыбьем меху, блеск внезапной спины.
Мы с кормы наблюдаем, во что этот образ одет
и становимся продолжением глубины.

Море, чайки, дефисы, запятые, точки-тире...
Текст – волна за волной – оmyвает далёкий берег,
что дрейфует в земной своей темноте
в декорациях из фанеры.

Из античного тела – в астральное прыгнул дельфин,
брызги вынесли воду за скобки,
вновь плавник отточенный разделил
корж пространства без дежурного «сколько вам?».

* * *

Камышовая мышь знает толк в тростниковых свирелях –
над болотной водой – гаммы маленького грызуна
превращается в жухлый свист – так природа, старея,
завершает свой выдох из затянутого узла...

Стебель – к стеблю, сплетения – вязь письма
этих ранних культур, что себя объясняли не словом, но жестом,
вновь по лунной дорожке спешащие поезда
избавляют язык от железа.

Сколько дырочек пальчиком нужно прижать,
чтобы ветер внутри обрастал – и утиным пером, и звенящими листьями?
Камень в космос отпустит, выйдя с орбиты, праша –
разойдутся круги в тихом разуме пейзажиста...

* * *

Он говорит: ГУЛАГ был прекрасен –
как в архитектурном смысле построения общества –
строгий, выстраданный, устремлённый вширь – так и, ясно ж,
в религиозном – сплочение нар под одним потолком, где хочется
видеть лишь звёзды ламп, пророчащих новые электростанции...
Он говорит, а я читаю что-то отрешённое,
нечто иного свойства и, может статься,
способное вынести удары шомполом
по голой спине. Поэтический ветер гоняет сухую листву.
Иду по улице всё с тем же серпастым именем.
Вновь отказано быть гражданином черепа, но я рискну –
прочерчу свою параллельную линию
от размазанных вспышек зачатков какой-то памяти
до туманов над тихой и тёмной водой.
Но не будем о грустном. Лучше давайте
рассуждать, что рассвет – всегда молодой,
и даже если в кармане растворятся последние деньги на хлеб,
а вода загорчит, пойманная в жадном глотке,
останется то, что не спрячешь в казённом чехле –
капелька свежего воздуха у птички на коготке...

* * *

Неугомонной тусклой птичкой
между каких-то грубых строк
мой голос безнадежно личный
нырнёт за стайкою сорок
в глухой и непролазный ельник,
где пахнет хвоей и тоской,
где саблезубое похмелье
откусывает снежный ком
у ноября, что рыхлым боком
затмил невыплаканный свет,
в котором стынет имя бога,
увы, понятное не всем...

В отжившем ворохе предчувствий
среди обугленных цитат,
перешагнув разбитый бруствер,
мой голос – раненный солдат –
осыплется во тьму и стужу,
где вновь неравная борьба
для пуль в каналах чёрных ружей
не пожалела серебра...

* * *

Хлебникову – испеките хлеба.
Введенскому – введите физраствор.
Хармсу – почистите карму.
Соснору – поздравьте со здоровым сном.

Но в этой глухой пантомиме
любому многозначительному излому плеча
предшествует трамвайная давка...
Приготовьте билеты –
сегодня контролёр совершенно забыл,
на какой странице остановился указательный палец,
поэтому требует надёжную закладку со штрих-кодом и номером.
Кстати, если билет окажется счастливым,
не забудьте известить об этом контролёра –
победителям лотереи следующая поездка
покажется бесплатной...

* * *

Маленькой серой птичкой
в переплётах воздуха
прячешь пёрышко – нечто личное,
лёгкое, тонкое, острое...

Тень скользнёт по лицу –
канет в Лету,
заучив наизусть
песню эту.
Прыг да скок –
под мосток
воробьиного счастья комок...

В серии «Только для своих» выпущены

в 2015 году:

**Наталия Черных (Москва). Четырнадцать
Александр Петрушкин (Кыштым). Подробности
Александр Павлов (Армавир). Недолет
Вадим Балабан (Троицк). Нулевая палата
Изяслав Винтерман (Израиль). Огонь на двоих
Владислав Семенцул (Екатеринбург). Трубка полого снега быстрого бега
Янис Грантс (Челябинск). Конъюнктивит
Дмитрий Машарыгин (Озёрск). Всё проще
Алексей Мишуков (Украина). Дядька Иван
Эдуард Учаров (Казань). Трёхколёсное небо**

в 2016 году:

**Иван Клиновой (Красноярск). Варкалось
Андрей Дмитриев (Нижний Новгород). Орнитология воды**

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
СЕРИЯ «ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»

Андрей Дмитриев

Орнитология воды: книга стихотворений

www.lulu.com
www.promegalit.ru

Подписано в печать 17.01.2016 г.

Формат: 148x148 1/16

Тираж: 400 экз.